

Ольга Фатеева

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ОБМАН

Отделение на четвертом, коридор, световые пятна на концах и, традиционно, посередине у поста. На улице за тридцать, самое жаркое время, часов пять или шесть. Прогретые стены, воздух, дряблые от пота постели, одежда и тела. Гроза собиралась всю неделю и, видимо, собралась окончательно. Сплошные фиолетовые тучи набрякли гигантским выменем, обложили со всех сторон и как будто поднимались снизу, от земли, до самого неба.

Больничный быт, несмотря на всю суровость, устроен рационально — туалеты в коридорах: движение — это жизнь. Евгений Николаевич как раз вышел из своей триста третьей по причине жизненного движения, малой нужды. Его дни здесь заканчивались сегодня, в жаркое июньское воскресенье, завтра выпишут, бумажки готовы. Лечащий врач, спокойный, даже излишне, производивший впечатление опытного, но без нарочитой уверенности, результатами был доволен. Когда Евгений Николаевич окончательно «вспомнил все», осознал себя в здешних пространстве и времени, доктор даже позволил себе поделиться с ним маленькой профессиональной радостью — давно, мол, с такими сложными пациентами не работал, скука и рутина в психиатрической практике, скука. Завтра Евгений Николаевич вернется домой, в полицию — заявить об утерянных документах, потом хождение по мукам — восстанавливать, паспорт, пенсионное, полис, родных нет, все самому.

Большая женщина, медсестра Ирина, на посту раскладывала таблетки — разнести пораньше и отдыхать, доктор — Евгению Николаевичу показалось, его доктор, — что-то писал. Освещение в коридоре вдруг поменялось, графитно-серое на темно-желтое, такое же глухое, но сверху засвеченное. Грозовое вымя немного опало, пропуская солнце. Доктор повернулся, уходя, — солнце вылезло еще ярче, проступило на затылке белым неправильным пятном. Евгений Николаевич приостановился, потом решил сде-

лать крюк — в туалет через пост, — показалось ему, наверное. Идет потихоньку за доктором, щурится, присматривается: он — не он? Белое пятно — вот не видел же раньше — тревожно золотится в грозовом солнце. Доктор остановился — и Евгений Николаевич тоже. Доктор заглянул в палату — Евгений Николаевич притормозил у Ирины, выпил положенные таблетки. Голову почесал, ухо потрогал-потеребил, подтянул трико, да так здесь у Ирины и обмяк, повис кулем на посту, и доктор прибежал, только неизвестно, какой. Который Евгения Николаевича лечил или другой, с седой прядью, или это один и тот же.

* * *

Гроза пришла под утро, ближе к четырем. С каким-то воистину тропическим ливнем, оставила ненадолго озоновую свежесть в ординаторской и лужу с красными прожилками у окна. В луже неудачно оказался доктор, по лбу и темени тянулась рана. А на автовокзале в мужском туалете переставал существовать пациент районной больницы Гусев Евгений Николаевич, 1953 года рождения, история болезни догорала в раковине. Вновь народившийся человек никому не представился.

* * *

Между домами — своим и соседским — зазор, убежище и тайник, его и друзей, протискиваться боком, иногда обдирает локти и коленки о шероховатый ракушечник. С улицы проход давно завален камнями, сухими ветками, превратившимися в курган, и надежно — по крайней мере, для домашних — укрыт кустом сирени. Со двора — территория соседей, он умел забираться незамеченным. Залез, получилось; похудел совсем в старости, как говорят, высох. Даже уместился на том самом кургане, через ветки видно, кто ходит, а в стене здесь как раз круглая дыра, там шкаф для еды холодный, можно подслушать, что-то да услышишь.

Теперь он действительно все вспомнил, точнее, вспомнил-то еще в больнице — доктор постарался, заставил, провоцировал.

Теперь он окончательно уверился, что помнит. Точнее, уверился тоже еще в больнице, седая докторская прядь стала божественным откровением. Блаженным непомнящим, то есть помнящим, но, как выяснилось, не себя и не то, удалось побыть первую неделю. О счастье Ивана, того самого, родства — и по тексту. Тогда он знал себя именно таким — одиноким, безродным, на жизненном покое, бездомным в небольшом степном городке, где сейчас очутился, в глубине полуострова. Потом — он сам и не понимал, как и почему, — из него полез этот Евгений Николаевич, пропавший в курортном Коктебеле, как и он сам, какое совпадение, чуть больше недели назад. Евгения Николаевича он не хотел. И быть им не хотел. Но и он сам, и этот Евгений Николаевич оказались людьми слабовольными, позволившими, допустившими, не сумевшими. Евгению Николаевичу нужно было возвращаться в свою жизнь — в поселке на море (плавать не умел, не купался), с домом, семьей, личной, семейной и поселковой историей.

С листьев капало, курган пропитался водой, от сырых стен морозило. Значит, дождь прошел и здесь. Жена Татьяна вернулась с рынка, он резко вспотел, побледнел, облизнул губы и прихватил колени, чтобы не дрожали. Стало слышно, как она ходит, видимо, раскладывает покупки и с кем-то говорит. Уши у него заложило, на глаза будто надавили изнутри, в череп засунули странный тяжелый камень, который как тесто, дрожжевая опара, растущая сразу во все стороны. Другие голоса он не воспринимал. Он попытался сглотнуть, продуться, зажав нос, как в самолете. Не получилось. Устал, не вслушивался и не подглядывал больше, закрыл глаза, сполз с просевшего со времен детства кургана, вытянулся в проходе и заснул, хотя и было холодно и влажно.

Снилось море, уродливая большая собака с пятнистой головой и человек без лица, как на картинах Магритта, хотя никаких картин, кроме тех, что рисуют местные художники на набережной, он никогда в жизни не видел.

* * *

Пожилая санитарка с каким-то серым и будто продавленным внутрь лицом, суровым, как на тусклых замятых фотографиях на-

чала двадцатого века, вытерла остатки лужи. В ординаторскую пришли еще врачи — новый рабочий день: доброе утро, вот это гроза была, здравствуйте, а как наши пациенты пережили? Спокойно? Доктор с седой прядью разливает всем кипяток по кружкам — растворимый кофе, в пакетиках чай, черный и зеленый, не хуже всех:

— Более или менее. В триста третьей только черте что. Вечером приступ был, на посту прямо бухнулся, в грозу очнулся, плакал, потом буянить хотел, ввели в седацию, в общем, поспать нам не дал. А ведь я его к выписке готовил.

Доктор снова садится к столу, пишет в истории болезни, скоро обход, слова не идут на ум, ручка застревает на бумаге, который уже по счету скомканный лист летит в корзину, на образовавшемся от каждодневного приклеивания корешке истории размазывается клей, собирает на себя пыль со стола, сохнет серыми ошметками.

Та же санитарка, запуская в дверь запахи больничного только что розданного завтрака, снова заглядывает в ординаторскую с испуганно коротким:

— Зайдите.

* * *

Он опять плачет, странно смотрит на всех, не понимает, почему они все здесь, вокруг него. Он не собирается при всех разговаривать. Нет, он не помнит, как его зовут. Евгений Николаевич Гусев? Кто это? Где он? Почему в больнице? Он жмурится, зевает, очень хочется спать, а еще в туалет, а ему не дают встать, судно судно. Он не может, не может в судно, тем более все эти разговорчивые по близости, не ушли. Внизу живота, в промежности горит. Голова побаливает, но не очень. Конечно, подташнивает. А они ему судно, градусник, трубкой слушают, вот еще кровь взяли.

Дни снова пошли один за другим, но так ему было спокойнее, здесь, в больнице. Здесь, в больнице, он точно знал, что имени у него нет, жены и детей тоже, и в этом городе в степи, далеко от моря, его пыльные улицы детства. Родители? Родителей он

не помнит. Или не хочет вспоминать. И море, море. Он тоже не будет его больше вспоминать, нет надобности, он не живет там. Не пропал из Коктебеля, это не он, да и какая разница, откуда он пропал.

Конечно, его лечили, таблетками и гипнозом, как и в первый раз, до грозы, но, каждый вечер ложась спать, он думал и думал, что обманул всех, какое счастье, он всех их перехитрил.

Теплое и жаркое накатывало, он лежал и улыбался, как младенец в описанных пеленках. Закрывал глаза, задерживал дыхание, всхрапывал, слушал сердце, урчание в кишках, трогал свой красноватый, давно расползшийся по лицу нос, толстые, выпяченные губы, старался дольше не засыпать, чтоб в очередной раз увериться и насладиться. На этот раз он не попадется, он не попался, уже, никто больше не назовет его этим дурацким именем, не заставит вернуться домой... туда. Единственный свидетель — с седой прядью, но он знает, что с ним делать, он решится, решился, все решит.

* * *

История болезни закончилась записью — падение с высоты, сочетанная травма тела. Труп так и не был опознан, никто не пришел его хоронить. А вот к убитому врачу на могилу часто навевалась плачущая немолодая, но и не совсем старая вдова, Ольга Александровна. Да и она тоже все реже ходила на кладбище, а потом совсем перестала — новый муж, повезло, в ее-то возрасте и с детьми, а самое главное переехали они, к морю, в Коктебель, она любила и с детства мечтала. Белые дома с черепичными крышами на отшибе, под Кара-Дагом, низкое, стелящееся по земле разнотравье, выжигаемое солнцем в сезон, и черноморский гольш на пляжах страны коньяков.

За год они расстроились. Нечто уродливое, с одного боку неровно распластанное в стороны, посередине детскими кубиками возвышающееся над целой улицей, серое, бетонное и блочное, с пластиковыми навесами на узких балконах, где вдвоем не поместиться, и столовой на шестнадцать мест. Ольга Александровна

засела дома, забыла про свое образование, тоже медицинское, варила каши и борщи, жарила пахнущие на всю округу котлеты отдыхающим, да так расстаралась, что, кроме своих постояльцев (шестнадцать номеров), еще и со всей улицы кормила. Тот самый проход между домами, который оказался тем самым, окончательно завалили и застроили.

* * *

Ветер полощет белье где-то под потолком террасы, розы в человеческий рост упрямо гнет к земле. В море коричневая муть, под ногами, как только заходишь, обрыв, вымытый волнами, и ровные горки водорослей на берегу. Пруд во дворе завалило листьями, разноцветными лепестками и стручками акаций. Шторы летают от окна до окна, по ленивой, тяжелой, скрипучей двери слабо, но назойливо цокает кованая щеколда. А по потолку витражом разбегается красно-фиолетовая радуга. И такое чувство, будто первый день каникул, и неожиданная жара, как бывает в конце мая — самом начале июня перед тем, как зарядить дождям, и от нечего делать, напуганный свободой, ты засыпашь днем, а когда приоткрываешь глаза и сладостно тяжело после сна, ловишь в окне пронзительное солнце и пугаешься, что что-то пропустил, куда-то не успел, и от этого хочется плакать, но стесняешься, и «неизбывная тоска», но об этом ты, к счастью, пока еще ничего не знаешь.

